

Улица Мандельштама

15 января — 110 лет самому трагическому поэту русского XX века

Через столетия юбилеев лучших русских поэтов советской поры — Ахматовой (1989), Пастернака (1990), Мандельштама (1991), Цветаевой (1992) — пришлось на эйфорические ожидания горбачевской перестройки и мучительные надежды раннеельцинской эпохи. Больше того: все глобальные перемены середины 80-х начались с празднования векового юбилея Николая Гумилева. Именно публикация его стихов в «Огоньке» пробила первую цензурную брешь, через которую потом хлынули потоки свободной информации, в конце концов разнесшие заслоны дряхлой системы.

Известия, 2001, 15 янв., с. 1, 8

Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Минуло славное десятилетие; очередной мандельштамовский юбилей мы отмечаем в принципиально ином контексте. Разу-

меется, контекст этот не меняет сути поэтического высказывания; Осип Эмильевич Мандельштам остается Осипом Эмильевичем Мандельштамом, к нему переходящие смыслы не липнут. Но социальные ощущения тоже

подчиняются закону рифмы, они ищут созвучия во всем. В книгах тоже. И находя это созвучие, усиливают его, акцентируют, умножают.

Так вот, если десять лет назад с умонастроением эпохи отчетливо аукались — и чаще всего цитировались — стихи о вековолкодаве, о вожде, чьи пальцы, как черви жирны, то теперь прежде всего приходят на память не менее трагические «Стихи о неизвестном солдате». Не менее трагические, но куда менее «конкретные», не связанные напрямую со страшноватыми деталями сталинского времени. Сти-



хи о подземном гуле истории, о ее катастрофизме, о ее покушении на человеческий разум, об ожидании младенческого счастья и о благой неизбежности Страшного суда.

(Окончание на 8-й стр.)

Улица Мандельштама

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Что-то и впрямь непоправимо переменилось в наших взаимоотношениях с историей.

В России к концу прошлого века утопические порывы окончательно стихли, политическая жизнь подернулась застойной ряской, на Западе иллюзии всеобщего благоденствия лишь усилились. А между тем тревога нарастает, как тяга в разгорающейся топке. И сами собой, по-мандельштамовски невинно, не расчлняясь на отдельные слова, воздействуя густыми смыслами, начинают всплывать строки:

«Наливаются кровью аорты/
И звучит по рядам шепотком:/
— Я рожден в девяносто четвертом./ Я рожден в девяносто втором.../ И, в кулак зажимая истерный/ Год рожденья с гурьбой и гуртом,/ Я шепчу обескровленным ртом:/ — Я рожден в ночь с второго на третье/ Января в девяносто одном/ Надежном году, и столетия/ Окружают меня огнем».

Это — финальная строфа «Стихов о неизвестном солдате»; тем, с чего обычно поэты начинают, Мандельштам заканчивает. А тем, чем заканчивают, обычно начинает. Строфа, посвященная смерти, на самом деле говорит о рождении, отбрасывает нас к истоку, началу, младенчеству. А строфа, открывающая стихотворение, напротив, бросает читателя в окопы: «... И в землянках всеядный

и деятельный/ Океан, без окна вещество».

И в какой-то момент становится ясно, в чем тут дело.

Коллективный герой «Стихов...» — поколение родившихся в застойно-благополучное, смутное в своем ненадежном покое последнее десятилетие XIX века. Поколение, которое столкнется с Мировой войной четырнадцатого года — и почувствует себя частицей исторического вещества, размолотого войнами, политическим людоедством, ужасом существования:

«Миллионы убитых задешево/ Притоптали тропу в пустоте./ Доброй ночи, всего им хорошего/ От лица земляных крепостей./ Неподкупное небо окопное./ Небо крупных оптовых смертей...»

Это поколение выросло с чувством полной защищенности, а ушло — с ощущением полной беззащитности. Поэтому-то сквозной образ здесь — шар.

Это и шар земной, развороченный могилами. И сферическое пространство человеческого глаза, в котором отражается небо, пробитое эхом выстрела. И округлые виноградины созвездий. Но прежде всего это прохладная округлость младенческого лба. Вот на эти-то глазницы, на эту прекрасную сферу изо всех своих чудовищных сил давит история; она в самом прямом смысле хочет вторгнуться в пределы человеческо-

го сознания, чтобы порушить его: «Для того ль должен череп развиваться/ Во весь лоб — от виска до виска,/ Чтоб в его дорогие глазницы/ Не могли не вливаться войска?»

И все же Мандельштам — не поэт безнадежности; его стихи посылают комок к горлу, но через внутреннее потрясение и очищают, освобождают от безысходности страдания. Встреча с Историей, повторюсь, катастрофична, жизнь человеческая исполнена трагического смысла (и тем трагичнее, чем безмятежнее ожидание счастья), но в миг наивысшего напряжения душевных сил боль отступает — и человек лицом к лицу встречается с вечностью.

«...И столетия окружают меня огнем».

Никто не знает, какая судьба ждет поколение новых читателей Мандельштама, допустим, рожденных «в девяносто одном/ Надежном году» двадцатого столетия. Даст Бог — проскочит. Но чувство опасности лучше не терять, потому что самое опасное, что есть на свете, — это иллюзии.

Впрочем, разбирать мандельштамовские тексты на газетной странице — самое безнадежное занятие. Они конфликтуют с любым истолкованием, с любым упрощением; они действуют вопреки неизбежному желанию свести все к элементарному набору азбучных истин.

За то мы их и ценим.